

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XL

№137

1985

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

С. ДОВЛАТОВ. Рассказы из чемодана	5
Ирина РАТУШИНСКАЯ. Стихи	96
Виктор НЕКИПЕЛОВ. Майерлинг. Стихи	99
Ю. КУБЛАНОВСКИЙ. Стихи	101
Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. Улица Красных Зорь. Повесть	105

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Петр ВАЙЛЬ, Александр ГЕНИС. Строительство утопии. Из книги «60-е»	157
--	-----

ИСКУССТВО

Семен ЧЕРТОК. Михаил Ромм: судьба художника	191
---	-----

ИСТОРИЯ

Лев РУДКЕВИЧ. Забытая годовщина	225
---------------------------------	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Игорь БИРМАН. Власть в СССР	234
-----------------------------	-----

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК

Виктор ШИМАНСКИЙ. Китай: сегодня, завтра, послезавтра...	269
--	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

Наталья Малаховская. «На две половинки разрезанная душа»	291
Борис Хазанов. Проза поэта	297
Анатолий Копейкин. Верность себе	302
М. Хейфец. Солженицын – «глядя из Парижа»	305
КОРОТКО О КНИГАХ	311
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ	312
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ	314

Обложка работы художника Н. Мишаткина

Проза поэта

Книжка начинается с объявления: «Я никогда ничего не писал в прозе». Не верьте. Человек, никогда не писавший прозой, не знакомый с ее секретами, с алхимией слова (поэзию я определил бы иначе), не мог бы создать эту книгу. Проза не есть речь, лишенная ритма, рифм, красивых бессмыслиц и прочих атрибутов стихотворного искусства; проза – это особая стихия, и вот почему поэту должно быть очень трудно писать «просто так». Поэты дышат жабрами, у них нет длинного дыхания, и в прозе они должны чувствовать себя, как рыбы на прилавке: два-три взмаха плавниками – и конец. В одной сказке Маршака говорится о короле, который скончался от разрыва сердца из-за того, что во время тронной речи не сумел подобрать рифму к слову «восторг»: в его королевстве полагалось изъясняться только стихами. Попробовал, стало быть, говорить прозой. И вот чем это кончилось.

«Спасенная книга» Льва Друскина (названная так потому, что рукопись была похищена КГБ и спасена каким-то чудом) снабжена подзаголовком «Воспоминания ленинградского поэта», но это не мемуары в обычном смысле слова и не просто дебют поэта в непривычном для него жанре. Фраза «я не писал в прозе» как будто взывает к снисхождению: певчая птичка, виршеплет, – что с него взять? На самом деле перед нами – прозаик, умный и тонкий, обладающий абсолютным чувством стиля, умеющий повернуть фразу, говоря словами Бабеля, один раз, а не два раза, и поставить точку на предпоследнем слове.

Об этом стоит сказать сразу же, потому что такого русского языка мы не читали уже Бог знает сколько лет. Мы привезли с собой в эмиграцию больной язык – отечный, обрюзгший, на котором полуночные возлияния в дружеском кругу, бесконечные словопрения, кружковые вкусы и полуподпольная среда оставили свой след; язык, для которого придумано особое название: трёп, – верное отражение недисциплинированной мысли. И можно представить себе, какой вид и объем приобрел бы под пером представителя этой словесности уникальный жизненный материал, каким располагал автор «Спасенной книги». Нет ничего соблазнительней, чем писать о себе, – и нет ничего труднее. Исповедальный настрой стал господствующим в литературе русской эмиграции. Но как часто он сбивается на интона-

Лев Друскин. «Спасенная книга. Воспоминания ленинградского поэта». – Overseas Publications Interchange Ltd., – London, 1984.

ции назойливого рассказчика, который не умеет остановиться, болтливого и нетрезвого конфидента, слюнявого Нарцисса. Тем удивительней благородная сдержанность, безупречный вкус и лаконизм прозы Друскина, ее свободный от какой-либо наигранности и вместе с тем сердечный тон. Книга притворяется простой. На самом деле она изысканна.

В книге есть такая сцена. Ее невозможно забыть. Автору 16 лет. «Я был, – вспоминает он, – узкокостный, сухощавый, ноги весили совсем мало, поэтому почти любой сверстник легко переносил меня на руках, – не на закорках, а перед собой: одна рука под коленки, другая за спину, а я обхватывал товарища за шею». Таким манером одноклассник таскает его по Дворцу пионеров. Их замечает директор или кто-то в этом роде. Он несется за ними по лестнице, крича: «Это еще что за хулиганство!» Приятель, с Друскиным на руках, спасается бегством, оба помирают со смеху.

Внизу стоит машина. И вдруг директор, увидев, как парализованного мальчика впихивают на заднее сиденье, останавливается, как вкопанный, и молча бредет обратно.

Этот мимолетный эпизод теряется среди множества других, юность, война, эвакуация, страшные послевоенные годы заслоняют его; отчего же он врезается в память? Я думаю, что он может служить образцом творческой манеры автора. В его книге нет пространных деклараций, нет картин и сцен, рассчитанных на то, чтобы поразить читателя. Вся она состоит из таких коротеньких эпизодов, по большей части – житейских мелочей. Искусство состоит в том, что бытовая сценка, двумя-тремя штрихами набросанный портрет, чья-то забавная сентенция – неожиданно освещают загадку жизни. Моментальный снимок высвечивает то, что понадобилось бы разжевывать на многих страницах. Ответ никогда не бывает однозначным. Вот важный урок, который книга незаметно преподает читателю. То, что называется гремучими словами «История», «Эпоха», «Страна», творится и существует за окнами, за стенами дома в блокированном Ленинграде, за забором ташкентской богадельни, где укрытый вонючим тряпьем, потерявший всех своих близких, лежит герой и автор книги, больной пеллагрой, как будто ему недостаточно было его увечья, – но именно оно, это увечье, наделило его необычайной чуткостью, умением внимать росту травы и понимать людей, слышать сквозь стены и видеть поверх заборов. Оно – одновременно – благословение, если не миссия. Болезнь – оборачивается избранничеством.

Книга Друскина отнюдь не рассказ о собственных несчастьях, менее всего автор стремится разжалобить читателей. Если

подчас в глазах его стоят слезы, то это слезы вовсе не о себе. И вообще это книга – не о болезни. Но хотя намерения автора по видимости просты, хотя, как нас предупреждает вступление, в книжке нет ничего, кроме фактов, и к ней не следует относиться иначе как к документу времени, в ней присутствует некий сверхсюжет. В конце концов, он и придает ей художественную цельность. Это повесть не только о том, как из безногого мальчика, пациента странного учреждения – «Институт физически дефективных детей», вырастает мужчина, но прежде всего – рассказ о творчестве, притча о том, из какого яйца вылупляется художник, из каких ключей он черпает живую воду. У болезни – высокой болезни – есть другое имя: поэзия. Так что превосходную эту прозу все-таки написал поэт.

Удачно найденная композиция лирических воспоминаний дала возможность включить в книгу весьма разнообразный материал. По отношению к автобиографическому сюжету, обнимающему всю жизнь автора, от вполне легендарного детства, успевшего захватить эпоху нэпа, и до последних дней в России, до драматической посадки в самолет, – по отношению к этому сюжету заметки о встречах с выдающимися современниками, портреты братьев-писателей играют скорее подчиненную роль. Тем не менее, и эти страницы читаются с захватывающим интересом. Друскин верен себе: его свидетельства никогда не бывают односторонними, его приговоры – если это вообще приговоры – неоднозначны. При абсолютной документальной точности, нарисованные им портреты остаются художественными произведениями. Художник избирает свои объекты безотносительно к их нравственным достоинствам. Мудрость искусства, однако, состоит в том, что и в мерзавце оно видит человека.

«Прочел „Окаянные дни“ Бунина. Читать было неприятно... Автору ненавистно все: хамская толпа, это животное Ленин, эти предатели и негодяи Горький и Блок... Вместо лиц – одни свиные рыла.

Не дай мне Бог написать такую книгу! Ненависть – плохой вожатый».

Читая эти слова – программные для автора «Спасенной книги», – вспоминаешь что-то знакомое, другие имена и времена. Четверть века назад покойный Ф. А. Степун говорил о двух «агит-макулатурах», советской и эмигрантской, похожих одна на другую, как курица и ее отражение в луже. Через много лет после Бунина третья смена эмиграции, в лице своих бесконечно менее талантливых представителей, больна тем же пристрасти-

ем рисовать плакаты, выдавая их за действительность, тем же неисцелимым недугом ненависти. Один из читателей порицал Друскина за то, что он описал Константина Симонова (очерк о Симонове, к сожалению, не вошел в окончательную редакцию книги и опубликован отдельно) с излишней снисходительностью, надо было заявить прямо: Симонов сволочь, прихлебатель сталинского режима и т. д. Но слово «сволочь» отсутствует в лексиконе Льва Друскина. Это не значит, что он не видит границы между добром и злом, но он понимает, что граница чаще всего проходит через самого человека.

Вот рассказ о Юрии Рытхеу – классике чукотской литературы и единственном чукотском писателе, одной из колоритных фигур в паноптикуме, который именуется советской литературой:

«Это удивительный сплав культуры и дикости, обаяния и отталкивания, широты и скупости, цинизма и немного притворного, почти детского простодушия...

До двенадцати лет он не знал русского языка. Дети играли в русских... Рытхеу исполнилось уже четырнадцать, когда всех мужчин, кроме стариков и больных, внезапно арестовали. Сквозь слезы и проклятья перепуганных женщин их погнали на пароход и отвезли в бухту Лаврентия – строить аэродром.

Официально они не значились заключенными, но территория была опоясана колючей проволокой и на вышках стояли часовые. Юру определили помощником повара...

Думаю, что первую прививку цинизма советская власть сделала ему именно здесь, в лагере. Надо было получить комсомольский билет, и к мальчику приставили конвоира. Из райкома он тоже шел под дулом, держа аккуратную серую книжечку и разглядывая изображение Ленина».

Сейчас это один из самых богатых людей в Ленинграде. Поездки в капстраны, груды заграничного барахла. Пишет он, разумеется, давно по-русски.

Можно ли к Рытхеу относиться всерьез как к писателю?

«К приезду Рытхеу я подготовился: поворожал глыбы его книг, поворошил журналы и, надо сказать, неподдельно огорчился. Прежде всего, это было неталантливо... Поэтому я был ошеломлен, когда в ответ на расспросы о современном Севере Юрий Сергеевич обрушил на меня каскад поразительных историй. И каждая из них была новеллой – короткой, с неповторимыми характерами...

– Юра, – спросил я... – Почему ты этого не записываешь?

Он усмехнулся:

– А зачем?

– Как зачем? Такие блестящие миниатюры! И абсолютно готовые.

Он опять усмехнулся:

– Ну и что! Ведь их не напечатают. Я знаю, какой товар нужен...

Он умный и хитрый, как бес...

– Евреи, – говорит он, – это тот народ, о который разбивается волна русского шовинизма и докатывается до нас, чукчей, в виде дружбы народов.

...Я спрашиваю у Лили:

– Каким словом можно определить Рытхеу?

Она задумывается и отвечает:

– Ненастоящий...

Да, ненастоящий. Ненастоящий чукча и ненастоящий европеец, ненастоящий интеллигент и ненастоящий обыватель, ненастоящий друг и ненастоящий враг».

Несколько обрывочных цитат могут, конечно, дать лишь приблизительное представление о главках, посвященных коллегам-литераторам. Пересказать книгу невозможно, и мы вынуждены только упомянуть о замечательном портрете Маршака – литературного учителя Друскина, о несчастной Ольге Берггольц, о монументально-карикатурном Прокофьеве, о Данииле Гранине, на юбилее которого какой-то подвыпивший писатель произнес тост: «Все мы знаем, что Даниилу Александровичу не так уж много отпущено от Бога, и только своим великим трудом...»

Одна из глав называется «Голос предков». Ее предваряют стихи: «Голос предков – ветерок в моей крови...» Лев Друскин – один из представителей вымирающего племени русских поэтов-евреев. О том, что означало существование этого племени и продолжает означать в русской литературе, много говорить не приходится; довольно хотя бы перечня имен: Мандельштам, Пастернак, Багрицкий, Маршак, Бродский, Самойлов, Лозинский, Липкин... Автор «Спасенной книги» и семи поэтических сборников, опубликованных в СССР, принадлежит к числу тех, кто укоренен в русской культуре до полного самоотожествления с ней и вместе с тем ощущает себя евреем, для кого понятия русский интеллигент и еврей не только не исключают друг друга, но являются почти синонимами. По крайней мере ненависть к евреям неотличима от ненависти к интеллигентам... В книге Друскина нет рассуждений о «еврейском вопросе», в ней есть полтора десятка грустных рассказов, длинные розовые шрамы от когтей, которые протягиваются

откуда их и не ждешь. И, как всегда, трагическое смешивается с комическим:

« – Дедушка, а правда, что Христос был еврей?

Дед (сокрушенно): – Правда, внучек. Тогда все были евреями. Время было такое».

Прочтите эту книжку, проведите с ней долгий вечер вдвоем. И вы поймете, для чего стоит жить и мыкаться на этом свете. То, что делает жизнь привлекательной, ради чего стоит жертвовать всем, – литература, вечное, осеняющее всех нас русское слово.

Борис Хазанов